



*Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все  
изменимся вдруг, во мгновение ока...*

**1 Кор. 15, 51, 52**

*Древнее прошло, теперь все новое.*

**2 Кор. 5, 17**

*Не пашу же, не сею, не торгую, не воинствую,  
отвергаю всякую житейскую печаль.*

*Что же делаю? Вот что: «Всегда благославляя  
Господа, пою воскресение его!»*

**Григорий Сковорода**

Когда-то и мы приезжали, да. Выпрыгивали на пропыленную платформу. На станционных платформах всегда лежит удивительная пыль. Московская, ташкентская, одесская... Сыплется веером с пролетающих товарняков, рефрижераторов, пультманов. Вбирает свет, смешивается с пылью местных дорог, слеживается, становится почвой. Да, вот она родная почва — копнешь на полштыка, снимешь верхний слой, а дальше... Дальше почва иных дорог, иных судеб.

Но дело даже не в железнодорожной платформе. Не в — тра-та-та-та — Маша, отойди — тра-та-та — держи его — тра-та-та — крепче. Да, дело в сандалиях. Бывает же дело в шляпе? В велюровой, зеленоватого цвета, прохладной на ощупь, с мокрой от пота кожаной вставочкой внутри. Или нет? Та шляпа, еще отцовская, лежит в чемодане, бледно-коричневом, с блестящими металлическими ладошками на углах. Жарко, лето... Раз пыль, значит, лето.

Можно, конечно, приехать и зимой. Спрыгнуть на заледеневшую платформу, забить задубевшими ногами друг о дружку, кликнуть возницу... Но кто ж из выпускников юридического приезжает зимой? Холодно, вокруг снега, на реке — зеленоватым леденцом лед... Да, лучше

выпускникам приезжать летом. Здесь тебе и базар с яблоками, и молоко в запотевших кринках, и тень липы по утрам.

Оно же и с благоустройством легче. Юротделу в лице Ивана Ивановича и секретарши Зоеньки не надо будет, зачерпывая снег короткими ботиками, бежать к руководству литейно-механического, дожидаться приема, кланяться в пояс. Летом легче с жильем: люди разъезжаются, общежитие пустеет.

Но был ли мальчик? Был, был. Недаром же упомянуты желтенькие, цвета медовых груш, сандалии, сейчас такие уже не носят — пупырчатая кожа, скользкая подошва, пряжки из белого, горящего на солнце металла. Правда, откуда мальчик? Непонятно. Как непонятно? Ясно, что мальчики появляются оттуда же, откуда и девочки, — из полутемного душноватого тамбура, из новенького вагона, выкрашенного зеленой краской. Девочка — не сестренка ли? Нет, нет, просто чужая мама выносит на руках толстую девочку с косицей вокруг головы, с белой панамой в потной ладошке. Девочка хнычет, ее разморило в душном вагоне, но даже такая, недовольно хнычущая, она успевает рассмотреть худенького белоголового мальчика с квадратом чубчика, мужчину в белой тенниске, распахнутой на груди, и женщину, стройную, хрупкую, с черными, смоляными волосами, заплетенными в косы, в босоножках на толстой каучуковой подошве. Но это еще не все — на женщине кроме умопомрачительных босоножек еще и платье с рукавами-фонариками. Такие в городе еще не носят: беленькие носочки по щиколотку, с прямоугольными тканевыми выступами. Беленькие носочки, загорелые лодыжки, цветастый ситец сливаются в разноцветный фонтан, в цветовой праздник. Девочка чувствует себя пчелкой, пикирующей на июньский луг. Женщина-праздник, женщина-цветок, женщина-мед приехала в город N.

Можно, конечно, пойти и дальше. Взобраться на водокачку, традиционно оживляющую пристанционный пей-

заж, приложить ладонь козырьком. Понюхать ветер, еще не остывший от поцелуя паровозного дыма, смешанного с крупичками копти, задрожать соскользнувшей ногой на заржавленной чуткой скобе, вбитой в кирпичный ряд. Но лучше не надо. Во-первых, это опасно. Во-вторых, случайные переломы и непредвиденные падения не являются целью нашего повествования.

Да есть ли у него цель? Есть, есть, конечно же, господин Сценарист. И сюжет, и цель. Как же без них? Смею надеяться, что со временем вы сами узнаете ее сладкую горечь и поймете, что мой рассказ не просто излияние сердечных струй, его тайных и неизреченных мук. Но пока не будем об этом, да. Не будем.

Лучше пройти по пыльной платформе, глядя вслед уходящему поезду, войти внутрь ладненького, с двумя скрипучими дверьми, вокзала, сесть на отполированную до зеркального блеска скамью, оглядеться.

Вот оно, новое местожительство. Или место жительства? Неважно, совсем неважно. Главное не это. И даже не хмурые, неласковые, хоть и любопытные взгляды немногочисленных пассажиров. Главное — понять, что там, за коричневой деревянной дверью, в дальнем углу зала ожидания? Вопрос не праздный, можно даже сказать, философский вопрос. Конечно, можно без всяких сомнений заявить, что на коричневой деревянной двери висит тоненькая стеклянная пластинка с черными худенькими буквами «Буфет». Или же с буквами потолще — «Ресторан». Субъекту, не улавливающему разницы между этими названиями, наш интерес кажется странным. Но не нам. О, только не нам! Для нас это важно. Нам, замшелым провинциалам, выросшим под сенью железнодорожной ветки, вблизи овражной сырости полосы отчуждения, до пяти лет справляющим нужду под насыпью, во рву некошеном, до железнодорожной дрожи влюбленным в запах разморенных солнцем шпал и горячего щебня, нам это чрезвычайно важно.

Важно, да. Ибо если это «Буфет», то совершенно очевидно: московский скорый в восемнадцать пятьдесят и пассажирский в семь сорок семь через эту станцию пока не идут. Да, не идут — не полощутся кремовые занавески в открытых окнах, не выбегают к вагонам, презрев опасность, тетки с корзинами яблок, не прогуливаются по перрону полосатые пижамы с газетой под мышкой. Значит, время такое-то, статус станции ограничен «Буфетом», и ни тебе официанток в кружевных наколках, ни ромашек в круглых вазонах на столах, ни борща с чесночными пампушками. Да-с, почти ничего. Не говоря уже о пиве в запотевших толстостенных бокалах с куполками ватной, почти непроницаемой для взора пены...

Но если там все же написано «Ресторан»? О, это совсем меняет дело. Значит, идут поезда, продираются сквозь яблочные ароматы, официантки шуршат накрахмаленными передниками, статус станции возвышен и определен. А всего-то дело в двух поездах, в двух железнодорожных составах, грохочущих через равные промежутки. Самое время воскликнуть: о, где вы, наши всегда запаздывающие поезда? Не время ли лететь через станцию, через утекающую жизнь, даря ослепительную надежду и станционному буфету, и краснобокому яблоку, и выпускнику юридического, заброшенному в эту чудную глушь волею чиновничьего росчерка?

Признаюсь честно, господин Сценарист, я отсюда не вижу. И дело не в отрицательных диоптриях моих стекол, не в толще разделяющих лет и даже не в блаженных потоках слез. Просто для меня сейчас это не важно. Я испуган и растерян, и занимает меня в данный момент совсем иное. С виду совсем обыкновенный вопрос, такие частенько любят задавать проводники вагонов дальнего следования, сапожники из дощатых будок с раскрытыми настежь дверцами, продавцы мороженого с заиндевевшими тележками: стоит ли время в нас, как вода в сосуде, по самое

не могу или это мы плывем во времени, аки топор по воде? Ответьте, учителя словесности, сухопарые классные дамы, студенты в круглых очках, кондукторы в форменных тужурках.

Молчат, не дают ответа. Молчите и вы, господин Сценарист, молчите. А ведь вопрос далеко не праздный, господин Сценарист. Отнюдь не праздный. Ежели время стоит в нас по самое не могу, то все меняется. Абсолютно все меняется. Мерным, степенным, свинцово-кирзовым шагом следуя в здание городского суда, куда совсем недавно по распределению прибыл мой отец с семьей (женой двадцати двух лет, с трехлетним ребенком мужского пола), прохожу в зал судебных заседаний, непослушными пальцами сбрасываю щеколду с барьера, отделяющего публику от подсудимого, и громовым голосом приглашаю: «Сюда, пожалуйста, Ваше Высочество!» Или нет... «Ваше Величество!» Так точнее. Кому в чем, а в величии Времени не откажешь. Была ли за окном великая эпоха, или эпоха так себе, или вовсе даже не эпоха, а просто годы, обыкновенные годы, да просто неплохие годы, славное времечко, времечко как вымечко, с молочной стружкой, времечко так себе, чудное, пограничное, пограничное, переходное, перегонное, время гона, погона, оловянной звезды, звезды Давида, время гранита, графита в тонких трубках, в коротких юбках, в сапогах гармошкой, время картошки, масляной плоски, многогранное, престранное, загадочно-сволочное, родное, смешанное с временами, раменами, знаменами, время добавляй по вкусу, время икс, время экс — время все равно остается великим. Всякий раз на дворе стоит великое Время. Время жить... Время Добавляй По Вкусу.

Первый вариант меня устраивает больше. Ведь я, как вам известно, отпрыск судебных дел мастеров. Впрочем, в каждом из нас до поры до времени согнут в душевной тесноте дьяк с пером за ухом. Он только и делает, что ждет государева клича, указа, повеленья.

Но ежели торжествует второй вариант — и мы плывем по времени, аки топор по воде, — то дело хуже... Куда хуже. Но кто же даст ответ? Кто посмеет раскрыть сию благословенную тайну? Неужто вот этот белоголовый мальчик, мальчик, которому рассерженная мама пытается натянуть на голову крохотную тубетейку, расшитую цветными нитками? Или пухленькая девочка, во все глаза наблюдающая за мальчиком и за его исторически обреченной борьбой с маминой рукой?

Нет, вдвоем им это не под силу. Не под силу, даже если к ним присоединится запах хлорки из привокзального туалета, спрятанного за беседкой, затянутой жимолостью и повиликой. Да, хлорка — порошок ядовитый, разъедающий все что попало, но тем не менее даже ей это не по силам. Тайна тяжела, неподъемна, как меховая шуба, намокшая от сырого снега, как мамина рука, в гневе опускаемая на розовую попку, как взгляд отца, только что вернувшегося с привокзальной площади. Тяжелы и неподъемны покровы тайны, а потому поступим проще — просто пойдем следом за ними. Ступим на разгоряченный асфальт, пересечем сквер, заросший липами и тополями, выйдем на узкую, крепнущуюся по направлению к реке улочку.

Увидим пенящиеся листвою сады, вдохнем близкую уже речную прохладу, усмехнемся при виде крохотного, заляпанного грязью пазика. Он ли увезет нас в сердцевину тайны, в ее смутный чертог, в ее затянутые садами дали?

Он, он...

Свет, свет... Его, как всегда, мало. Кузьмин задирает голову к потолку. Световые обломки золотой щепой плавают по главному ободу. У Кузьмина скульптурной лепки лицо, широкие надбровные дуги сдвинуты к переносице.

— Вот раздолбаи! — говорит он почти ласково, устало. — Просят по восемьсот за метр, а свет экономят...

Агент принимает замечание на свой счет, суетится. Его узенькая мордочка возникает на фоне лица Кузьмина, как след птичьей лапки.

— Так дом сдадут не раньше первого, — скороговоркой оправдывается он. — А сегодня только четырнадцатое. — Агент заискивающе смотрит на Леру.

Лера стоит у входной двери. Ее лицо в тени. Черные жесткие пряди угольными пластами покрывают голову. Отсюда, из тени, ее лицо чем-то напоминает лицо Фанни Ардан. Она высока и худощава.

Лера отступает в сторону. Кузьмин, сунув руки в карманы, насмешливо наблюдает, как агент тычется ключом в дверной замок. Вероятно, он бы справился с этим играючи. Но Кузьмин никуда не спешит. Он наслаждается жизнью, ее течением. Наконец замок победно щелкает. Агент бочком откатывается в сторону.

— Прошу вас. Сюда...

Первой в квартиру входит Лера. Золотой квадрат света, падающий из окна, ложится на ее лицо. Нет, далеко не Фанни. Лицо у Леры нежней, мягче. Славянский тип. Вот только волосы явно не из славянского набора. Густые, жесткие даже на вид. Губы Леры стиснуты в скептическую ухмылку. Она, прищурившись, озирает стены, проводит рукой по обоям. Останавливается, смотрит, как агент безуспешно щелкает выключателем.

Кузьмин хохочет.

— Сейчас, сейчас... — Агент готов провалиться сквозь землю. — Черти, наверное, на лестнице вырубили... Я мигом. Я бегом...

Он выскакивает за дверь. Тяжелая деревянная створка грохочет следом. Кузьмин и Лера стоят в темноте. Их руки сплетены.

— Как тебе? — спрашивает Кузьмин. Его голос неприторно нежен.

Лера пожимает плечами. Женская рука бережно прикасается к мужской щеке, медленно скользит книзу.

— Где-то мелом испачкался... — тихо, словно оправдываясь за внезапный жест, говорит Лера. Никакого мела на толстых, упругих щеках Кузьмина нет и в помине.

Губы Кузьмина расплываются в блаженной улыбке. Он целует ее ладонь. Начинает протирать лицо платком. Бурчит добродушно:

— Представляешь, а ведь две квартиры в этом подъезде уже заселены. И куда только люди торопятся?

— «И жить торопится, и чувствовать спешит...» — насмешливо цитирует Лера.

Она пересекает комнату по диагонали, подходит к окнам. Узкие ладони упираются в подоконник. Она смотрит сквозь стекло, лицо заливают восхищение.

— Саша, ты глянь! Канал...

«Л» срывается восторженной фистулой. Лера почти прижимается лицом к стеклу. Канала не видно. Он струится по женскому лицу. Лицо мерцает неверным светом, переливается. Глаза широко раскрыты...

Кузьмин входит. В этот момент вспыхивает свет. Густая волна затапливает квартиру. Мерцают паркет, стекла, обои. Это еще не рай, но приближение к раю. Судя по лицу Леры, рай за окном, там, куда она безотрывно смотрит.

Кузьмин, застигнутый светом, застывает на ходу. Поворачивается. Возвращается в прихожую. Два мягких поворота дверного замка отрезают их от дневного мира.

Кузьмин пересекает комнату. Лера, ссутулившись, стоит у окна. Кузьмин отводит рукой пук ее волос и впивается в шею. Ее веки падают на глаза, как театральный занавес. Губы выталкивают из себя вздох. Лера запрокидывает голову. Нежная шея напрягается.

Кузьмин целует ее взхлеб, сочно, словно делает любимую и необходимую работу. По лицу Леры пробегают волны, волночки удовольствия. Она резко, рывком поворачивается к мужу. Женские руки устремляются к мужскому паху. Если до этого лицо Кузьмина плавало в блаженной истоме, то теперь

оно одновременно испуганное и возбужденное. Два состояния попеременно борются на его лице. Возбуждение — мрачное, всепоглощающее — берет верх. Руки Кузьмина с легкостью подхватывают ее тело, бережно опускают на подоконник. Короткая юбка Леры задрана, голые высверки бедер спят почище световых бликов. Трусики скатываются рулончиком, останавливаются на выпирающих коленках.

Теперь — только лица, лица...

Лицо Кузьмина — серьезное, напряженное — двигается вверх-вниз, перемещаясь из потока света в тень Лериного лица. Лера, напротив, расслаблена и спокойна. Она улыбается. С каждым мигом губы натягиваются в улыбке, как две тетивы. Это уже не улыбка. Скорее, оскал. Стрела сдавленного крика срывается с ее губ, вонзается в клокочущий рокот его выкрика. И в этот миг в разбуженную, жаркую тишину квартиры заостренной спицей вонзается дверной звонок. Дзинь... Дзинь...

Звонок словно подстегивает Леру и Кузьмина. Вспышка наслаждения, уже идущая на убыль, вдруг разгорается с новой силой. Кузьмин вбивает себя в женское лоно. Лицо Леры разламывается новой судорогой. И еще одной... Влажная мякоть женских губ покрывается световыми искорками. Глаза раскрываются. Рука Леры ныряет в волосы Кузьмина. Он с улыбкой благодарности заглядывает в проясняющиеся окна ее глаз.

Дверной звонок вновь стыдливо напоминает о себе. И, словно ужаленный, смолкает.

Кузьмин целует Леру в щеку. Правая рука возвращает ей трусики, левая застегивает молнию на брюках.

— Бессовестный... — улыбается Лера, спрыгивая с подоконника. — Не мог потерпеть?

Кузьмин на ходу поворачивается, горделиво машет головой:

— Новую квартиру надо узнать со всех сторон... И с этой тоже...

Он счастлив.

— И как? — кричит ему вдогонку Лера.

Она разглаживает юбку, поправляет волосы и тоже беспрестанно улыбается.

— По этой части — порядок! — кричит из прихожей Кузьмин. Щелкает замок, рокочущий баритон Кузьмина плещется в прихожей: — Здесь у вас и не поймешь — то ли сквозняки гуляют, то ли домовые?

Агент с виноватой улыбкой идет за Кузьминым.

— Пошли глянуть в окна, а дверь и захлопнулась. Надо, хозяин, сбавлять цену. — Кузьмин властно похлопывает агента по плечу. — Кто ж будет платить по восемьсот за квартиру с домовыми?

Агент испуганно дергает плечом.

— Да нет, какие здесь домовые? — он растерянно поглядывает на Кузьмина, а сам бежит вдоль окон, выбросив вперед руку, — ищет сквозняк. — Да и со сквозняками вряд ли... Стеклопакеты финские, надежные. Ни единой щелочки...

Кузьмин насмешливо поглядывает на агента, переводит сияющие глаза на Леру.

— Ну, не знаю, не знаю... Наверное, все-таки пусть хозяйка решает. Как она скажет, так и будет!

Агент испуганно смотрит на Леру. Она едва сдерживается: Кузьмин из-за спины корчит ей смешные рожи.

— Хозяйке нравится. А канал — так вообще... Кажется, что я здесь родилась...

Агент с благодарностью смотрит на Леру. Она встряхивает волосами, поворачивается к окну.

— Только вот хотелось бы узнать о соседях. Вы сказали, здесь уже кто-то живет?

Агент кивает, начинает объяснять:

— Да-да... На первом этаже — вице-президент банка... Название банка какое-то мудреное, я не запомнил. А на вашей площадке... художник... — он вскидывает глаза к потолку. — По-моему, Пи... Пирогов, что ли?

— Художник известный? — кричит Кузьмин из ванной.

Он проверяет краны — вода с шумным плеском рушится в мраморную чашу джакузи.

— Известный? — Агент виновато улыбается. — Честно сказать, я не в курсе... Но не бедный, это точно...

Лера одобрительно кивает. Кузьмин входит в комнату, протирает руки белоснежным носовым платком.

— А разве художники бывают не бедными? — Он в упор смотрит на агента.

Тот испуганно поворачивается к нему.

— Наверное... бывают... — он улыбается. — В этом доме купить себе квартиру может только состоятельный человек. Я из этого и исхожу...

Кузьмин подходит к Лере, шутливо ее приобнимает:

— Нам тоже не терпится быть причисленными к разряду состоятельных. Верно, хозяйка?

Лера улыбается. Молчит. Агент с надеждой смотрит на Кузьмина. Тот перехватывает его ожидающий взгляд:

— Значит, так! Мы думаем до субботы. В одиннадцать я вам звоню. Ясно? Вопросов нет?

Агент облегченно вздыхает:

— Никак нет. Вопросов не имеется.

Троица идет к двери. Агент снова щелкает выключателем. Свет затухающей волной проносится по комнатному пространству и выпрыгивает в окно. Прямоком в канал.

Они спускаются по лестнице. Агент приоткрывает дверь парадного, ждет, когда пройдет Лера.

В этот момент в приоткрытое пространство вбегают гладкий, сытый боксер.

— Той... Той! — слышен звонкий девичий голос со двора.

Собака, злобно ощерившись, лает на Леру.

— Ты что? А ну пошла! — больше удивленно, чем испуганно выкрикивает агент.

— Ты чего, милый? — говорит Лера, присаживаясь на корточки.

Она протягивает к псу безоружную руку, но боксер продолжает облаивать смущенную Леру.

Лера поднимается, виновато поглядывает на добродушно улыбающегося Кузьмина.

— Вот... — говорит она. — Еще один довод в пользу собаки. Они меня уже даже не признают...

В этот момент в парадное влетает худенькая, невысокая девочка. Ей около двенадцати-тринадцати... Лицо освещают большие, удивленные глаза. Глядя на спускающихся по лестнице незнакомцев, девочка демонстративно отворачивается.

— Здравствуйте! — подчеркнуто вежливо обращается к ней Лера. — Что-то ваша собака меня невзлюбила?

Девочка обдаёт Леру кипятком серых глаз и стремительно бежит по лестнице.

— Той... Той... — кричит она с площадки второго этажа.

Собака срывается с места и, смешно перебирая короткими лапками, устремляется вслед за хозяйкой.

— Да... — удрученно вздыхает Кузьмин. — Ну и дети пошли...

Агент, придерживая дверь, объясняет:

— Это, по-моему, дочка художника... У творческих людей всегда такие своенравные... и собаки... и дети... Представляете, у меня дочка недавно в школу пошла. Ну, до этого у них было собеседование с учителями. Так вот, там один такой семилетний умник, кстати, тоже сын художника — он бросает взгляд вверх, туда, куда убежала девочка, — заявил, что он не находит среди них ни одного интересного лица. Вы представляете, каково это было слышать учителям? А?

— Бедные учителя... — вздыхает Лера.

— А что? Может, пацан и прав, — замечает Кузьмин и довольнo улыбается. — Да... Но, как говорится, сказанул не по теме. В наше время за такое из школы точняк выперли бы...

Они выходят из парадного. Идут к машине. Садятся — Кузьмин и Лера впереди, смущенный агент сзади...